

культуре, к творческому продукту как к продукту игры, условности. Трагедия уступает иронии, идеологию заменяет релятивизм (тоже, кстати, своего рода идеология). Ноуменальное ежели и присутствует, то лишь в качестве пикантной приправы.

Конечно, Л. Я. Гинзбург слишком умна, глубока, талантлива, ее умение на протяжении лет поддерживать неослабную интеллектуальную форму слишком героично, чтобы она могла удовлетвориться этой дорогой. Ее слова об этической возможности жизни, вынесенные нами в эпиграф, свидетельствуют об этом. И все же...

С годами в своих вкусах Л. Я. Гинзбург все дальше уходит от футуристических пристрастий молодости. Впрочем, еще в 1929 году она записывает: «Я говорю сейчас... об... опасности для писателей, которые не умеют оставлять вещи в покое, которых вещь мучает до тех пор, пока они не загонят ее в метафору. Это — опасность безответственных сравнений, фальшивых масштабов, кунсткамерности и остроумия».

Завышенная метафоричность — род литературного инфантилизма, всегда на грани с безвкусным. «Вещь в метафору» тогда загонял Олеша. Еще опаснее загонять в метафору идею, выдавая результат этого за притчу («романтические» поделки Горького и т. п.). Такого рода метафоричность — вечный соблазн авангардизма (например, театра абсурда), и надо обладать гением Кафки, чтобы выстроить на этом полноценное творчество.

...Жизнь Л. Я. Гинзбург пришлось на, в общем, иррациональное время. Тем пронзительнее и трогательнее, скажем, такая запись: «Понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случай-

ные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово».

«Мое поколение, — суммирует Гинзбург, — в молодости видело людей, служивших целям, которые были им дороже жизни, своей и чужой. Оно прошло потом через пустыню страха <...> и слепого желания выжить, которое обеспечивает спасительную непрерывность разрешаемых задач (какая глубокая, чисто гинзбургская мысль, как это нередко у нее бывает, вместившаяся в придаточный оборот! — Ю. К.). Потом мы посильно поучаствовали в ренессансе, а в 70-х годах дожили до общества потерянных целей».

...В 70-е годы члены «общества потерянных целей» собирались на московских и ленинградских кухнях и читали свое, обреченное лишь на «эзотерическое» звучание. И Л. Я. Гинзбург читала тогда в узком кругу свои записки и мемуары, конечно, не предполагая в достигаемом будущем увидеть их напечатанными.

Но вот проза ее обнародована благодаря тому, что вдруг исторический ход убыстрился — к неизвестной развязке. И если суждена будущему культура, то и наследию Л. Я. Гинзбург суждена долгая жизнь. О ее прозе можно сказать ее же словами, резюмирующими наследие Пруста: «Искусство — найденное время, борьба с небытием, с ужасом бесследности. Обретенная предметность, ибо всякий предмет — остановка во времени. Творческий дух одержал величайшую свою победу — остановил реку, в которую нельзя ступить дважды».

Ю. КУБЛАНОВСКИЙ.

Мюнхен.

*

«В РОССИИ НАДО ЖИТЬ ДОЛГО»

В. Каверин. Эпilog. Мемуары. М. «Московский рабочий». 1989. 543 стр.

Литературная судьба Вениамина Каверина внешне как будто сложилась удачно: десятки книг, три собрания сочинений (последнее в восьми томах), Сталинская премия, кино- и телеэкранизации, титул «одного из основоположников советской литературы».

На самом деле все было далеко не так благополучно. Почти каждое произведение Каверина вплоть до середины 50-х годов было встречаемо разносной, грубой критикой — теперь в этом может убедиться всякий читатель, поглядев в заботливо подобранные автором «Приложения». Для героев

«Скандалиста», писалось в одной из статей, характерны «мещанский индивидуализм, идеология саботажа»; в повести «Художник неизвестен», утверждала другая, «Каверин выступает глашатаем этой буржуазной непримиримой, враждебной пролетариату идеологии». Отрицательные отзывы сопровождали даже «Двух капитанов»; шестнадцать ругательных рецензий собрала первая часть «Открытой книги».

Он предпринял большие усилия, чтобы не стать трагической фигурой, к чему имелись все основания, если принять во внимание его литературные взгляды и вкусы, те-

мы, окружение. В 1925 году, оставив своих любимых алхимиков, схоластов и средневековых монахов, он написал роман «Девять десятых судьбы», в котором изображалось взятие Зимнего дворца и говорилось о «звоне часов революции». Спустя пятьдесят лет, в «Эпилоге», он скажет: «Мой роман был прямой изменой собственным убеждениям». В 1931 году, уже известным писателем, он выпустил книгу путевых рассказов «Пролог», описывающих будни зерносовхоза «Гигант», где пытался воспеть «смелый разбег, заставивший «стронуться» с места всю Россию». Воспеть опять не вышло — из-под красной шапки торчали уши. «Эпилог» рассказывает о том, как не состоялся «Пролог».

Он не перековался, но и не замолчал и не стал писать в стол. Он избрал четвертый вариант судьбы; в «Двух капитанах» ему удалось невозможное: работая с такими мифами эпохи, как покорение Арктики, советская наука, советская авиация, остаться в рамках нормальной этики.

Ничто не могло отбить у него всепоглощающего интереса и преданности литературе. «Писатели всецело заняты собой, — говорит он в последней своей прижизненной книге «Литератор», — и никогда не думают об интересах литературы в целом. Это — черта сравнительно новая, крайне вредная и совершенно не свойственная русской литературе». Сам он не только в поте лица вспахивал свое поле — он постоянно думал именно о литературе в целом. Он был первым, кто (на Втором съезде писателей) заговорил о Булгакове; много лет он был занят наследием Л. Лунца, Участвуя в пятилетней борьбе за книгу статей Тынянова (шедшей с «небывальным напряжением», сказано в «Эпилоге»), я увидел вблизи, сколько времени и сил в свои закатные годы Каверин тратил не на свою литературу — вернее, именно на свою, потому что всю русскую литературу он считал таковою.

Литературных мемуаров о советском периоде, то есть таких, где бы речь шла не только, употребляя странное, но привычное словосочетание, о политике в области литературы (завуалированно или открыто), но о восприятии самой словесности, движении ее жанров, языке, сюжете, — таких мемуаров у нас почти что нет. К писанию мемуаров такого рода Каверин был подготовлен всей своей биографией — питомца Петербургского университета, ученика академика Перетца, формалистов, с юности «начавшего лепетать на взыскательном языке Опояза» («Петроградский студент»). И он рано начал писать их. Подход был научный. Задумав очерк об Институте истории искусств

(1914—1929), Каверин списался с его основателем графом В. П. Зубовым, жившим тогда в Париже, разобрал записи институтских докладов и семинарских занятий, целые дни проводил в доме на Исаакиевской площади, где институт когда-то располагался. Начав писать о детстве, долгие часы просиживал в псковском архиве, листая дела своей гимназии.

Филологическая выучка, привычка смотреть на все глазами историка литературы, не раз объявлявшиеся главными недостатками каверинской прозы, оказались важными достоинствами при писании прозы мемуарной. В книгах его воспоминаний будущий автор исторической поэтики русской литературы XX века найдет ценные свидетельства современника, внимательно вглядывавшегося в самую ткань литературы, размышлявшего над ритмом и сюжетом «Записок чудака» Андрея Белого, сказом Зощенко, манерой Л. Добычина, писавшего об «оптике и геометрии» Ю. Олеси, о внутреннем монологе в современном романе. В «Эпилоге» этот чисто литературный взгляд есть. Например, в характеристике прозы Федина с ее «талантом воспроизведения, а не созидания», плохой композицией и стилистической бедностью. Или в оценке «За далью — даль» Твардовского: «Это — компас, без которого не обойдется исследователь, задумавшийся над сознательным возвращением в русскую поэзию разговорного, обыденного, прозаического слова после триумфальных побед символизма и футуризма».

Однако в целом книга эта написана совсем под другим углом зрения. К ней скорее обратится не исследователь стилей и манер советской литературы, а тот, кто заинтересуется способами уничтожения разнообразия этих стилей и манер. Собственно литературные проблемы в ней сильно притеснены «соседним рядом», как сказали бы учителя Каверина, — историей отношений власти к писателям, а писателей к власти, той, что над ними, и к своей собственной над другими писателями.

«Заранее должен предупредить, — предвзвешивает свое повествование автор, — что эта книга написана в начале семидесятых годов, то есть в период так называемого „застоя“». Большинство других книг его воспоминаний написано в тот же период. В отличие от них «Эпилог» тогда издан не был и на издание не был рассчитан. Поэтому «Эпилог» — книга дописыванья. Того, о чем он так мало писал в предыдущих книгах воспоминаний. Автор откровенен: «Это умолчание было легко для меня. Литературные интересы всегда заслоняли от меня интересы полити-

ческие». Но «нельзя было оставить в забвении, темноте, в немоте» то страшное, о чем не было рассказано там, потому что обо многом «в наши дни уже никто, пожалуй, кроме меня, не сможет этого сделать». Эти слова сказаны в связи с Зошенко. О нем Каверин писал не раз. В «Эпилоге» наконец досказана вся его горестная судьба.

Еще в «Собеседнике» (1973) о Добычине глухо и кратко сказано, что он покончил с собой в 1936 году. В последней книге подробно рассказано о той организованной травле, которая к этому привела.

Комментируя (и цитируя) прежние свои писания о жизни Тынянова, автор разъясняет: «Здесь многое зашифровано, многое недосказано из боязни, что все равно будет срезано цензурой. Что значит «хлопоты за друзей»? Это значит хлопоты за арестованных друзей, за моего старшего брата Льва, за Ю. Г. Оксмана, за Н. А. Заболоцкого». Впервые рассказано о трудной семейной жизни Тынянова, о его попытке самоубийства.

Дописано и о Л. Лунце, хотя раньше, в «Освещенных окнах», радуется автор, «удалось рассказать о Лунце больше, чем можно было надеяться... Мне удалось воспользоваться коротким периодом «ослабления режима» в середине 60-х годов».

Автор нашел в себе силы все это дописать, а истории было угодно, чтобы это увидело свет.

Впервые без утайки рассказана история переписывания — порчи — своих книг и под давлением редакторов, и по подсказке «внутреннего редактора». Одним из первых советских писателей Каверин заговорил о «взвешенной лжи» и степени неправды в своих собственных произведениях. Хочется думать, что эти его строки со вниманием прочтут обожатели прошедшего времени.

Откровенные признания, нелестные характеристики и такие же высказывания о нем других можно найти и в прочих книгах его воспоминаний (в «Петроградском студенте», например, рассказывается, как Зошенко после одной из серапионовских суббот вынужден был сказать двадцатилетнему Каверину: «Нельзя лезть в литературу, толкаясь локтями»; а Шкловский положил в карман его пальто записку из одного слова: «Сволоченок»). В «Эпилоге» градус откровенности выше. Мы найдем здесь беспощадные к себе слова о том, что Тынянов спас его «от душевного распада, от компромиссов, от возможности «легкой карьеры» в литературе», признания в «рабском чувстве» при разговоре с работниками НКВД, рассказ о том, как он «храбро спрятался», не пойдя на слет, где клеймили

«Доктора Живаго», и многое другое. Трудно припомнить мемуары — современные, — где б автор наговорил о себе столько плохого.

Уже приходилось слышать, что «Эпилог» отменяет и заменяет прочие мемуарные работы Каверина. Это неверно главным образом потому, что хотя к «Эпилогу» автор обратился во всей зрелости ума и таланта, в целом его подцензурные воспоминания написаны с большим литературным блеском. Объяснить это можно, мне кажется, тем, что в «Эпилоге» Каверин столкнулся с чуждым его авторской личности материалом. Героев надо любить, говорил Булгаков; видимо, и изображаемую жизнь тоже надо любить. Все самое необычное, близкое, радостное, милое, все начала были описаны в других книгах Каверина, и лучшие страницы этой взяты отсюда, а лучшие новые — о тех же 20-х годах («Засада»). На долю этой остались концы.

Вместо странной, новой, стремительно меняющейся, перенасыщенной событиями, встречами, внезапными разлуками жизни, радостно очерчиваемой быстрым пером мастера острого сюжета, — конец тяжелых 30-х, неопределенные 50-е и неподвижно-предсказуемые 70-е.

Вместо эпизодов талантливого серапионовского братства — картины ожирения некогда стремительного автора «Баллады о синем пакете», измены Слонимского, раздвоения и предательства Федина.

Легкая, всегда молодая манера Каверина-беллетриста была плохо приспособлена к описанию медленного убийства Зошенко.

Замечательным достижением прозы Каверина была счастливо найденная позиция и интонация рассказчика в «Двух капитанах» — детски-наивная, окрашенная каким-то диккенсовским юмором и серьезная вместе. Лучшие страницы главного его мемуарного сочинения — трилогии «Освещенные окна» — написаны в этом ключе.

В «Эпилоге» изредка мелькнет прежний рассказчик с его неиссякаемой благородной наивностью, изумляющийся грубости постановления 1946 года, не привыкший к ней за десятки лет, или всерьез удивляющийся тому, что «у современных коммунистов редко можно встретить собственные убеждения». Но здесь нужен был повествователь другой, и он явился — умудренный жизнью моралист, отчасти даже философ и социолог. Успех не сопутствовал здесь Каверину. Пример не удавшегося реального воплощения этой моралистической позиции — глава о Шкловском «Я поднимаю руку и сдаюсь» (окрашенная к тому же сильным личным

чувством; но история их шестидесятилетних отношений — особая тема). Во многом автор прав. Шкловский, член боевой организации эсеров, человек невероятной храбрости, в 30-е годы действительно стал другим — он уже в 20-е годы становился другим, когда жил в чинном Берлине и сам удивлялся: «Езжу в трамваях и не хочу перевернуть их» («ZOO»). Он был единственным из опоязовцев, кто печатно каялся, и не раз (устно Виктор Борисович объяснял это тем, что у него были «большие хвосты»: эсэровское прошлое). И все же.

У Чехова в письмах говорится, что один из сыновей Ноя заметил только то, что Ной был пьяница. А Ной был гениален, он построил ковчег. В книге Каверина утрачено ощущение масштаба фигуры Шкловского, который, думаю, был одной из заметнейших личностей нашего столетия. Сдача Шкловского не была прямой сдачей и отречением. В его поздних книгах читатель найдет многое из прежних опоязовских идей, главные из которых он никогда не считал научной ошибкой. Гораздо более точные слова о Шкловском принадлежат самому Каверину в книге, написанной на десять лет позже «Эпилога». В ней Каверин написал о своем старом учителе, что он жил, «многократно изменяясь и оставаясь самим собой, вводя в литературу новые понятия и зачеркивая старые, двигаясь вперед вместе с историей нашей культуры, сдаваясь, когда не было ни малейшей возможности обороняться, и снова нападая, когда возможность или видимость этой возможности вновь появлялась» («Литератор». М. 1988).

Морализаторский налет ощущается и в оценках книги Солженицына «Бодался телёнок с дубом» как «нескромной», где автор «сосредоточился на себе самом».

В книге «Здравствуй, брат. Писать очень трудно» Каверин вспомнит: «Когда-то, в начале тридцатых годов, мне казалось, что для того, чтобы изобразить то необычное время, в которое мы живем, и изобразить так, чтобы читатель понял и принял книгу, нужно отказаться от задач чисто литературных». В «Эпилоге» снова главной станет не литературная, а свидетельская задача, слово свидетеля и необыкновенного труженика литературы, несмотря ни на что, написавшего в послесловии к этой книге о любви людей, «понимающих друг друга с полуслова (подчас незнакомых), вкладывающих глубокий разносторонний смысл в понятие «порядочность», которая исключает предательство и подлость», о «потаенной нити, незримо связывающей тех, кто действует в подлинной, немакетной литературе».

Каверин любил это рассказывать и повторил в «Эпилоге»: «Когда я бывал у Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, он не провожал меня до выходных дверей (надо было спускаться по лестнице), а выходил на балкон, провозглашая с неизменным, поучительным выражением: „В России надо жить долго. Долго!“».

Он жил долго. Он дожил и рассказал то, о чем мог и хотел рассказать он, Вениамин Александрович Каверин, последний Серапион.

А. ЧУДАКОВ.

*

Политика и наука

РЯД МОЗАИЧНЫЙ И ПРЕРЫВИСТЫЙ...

Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М. «Современник». 1989. 735 стр.

Вспомним «Скучную историю», один из самых печальных чеховских рассказов: голос разочарованного во всем профессора Николая Степановича приобретает неожиданно теплые интонации и даже благоговейность всякий раз, когда он говорит о своих студентах и об университете. Сентиментальность старого ученого? Тот же Чехов записал легенду о Фете, который якобы не мог проехать мимо университета без того, чтобы не плюнуть в его сторону. Странная причуда поэта? Недоумения вызваны скорее всего тем, что мы утратили непосредственную связь с этим не таким уж дав-

ним временем. Нас часто обманывает одноименность реалий и институций прошлого века и нашего: «литература», «интеллигенция», «суд», «цензура»... Вот и университет — чем он был в прошлом веке?

Сборник воспоминаний, пожалуй, дает все необходимое для ответа. Составитель выбрал правильный путь, смешав и официальные документы, и частные письма, и случайные заметки, и обстоятельные мемуары. Среди свидетелей университетской истории и гордость национальной культуры (А. И. Герцен, И. А. Гончаров, К. С. Аксаков, В. О. Ключевский, А. А. Фет, Я. П. По-